

Гусельцева М.С. Психология и история: от макроанализа – к микроанализу



English version: [Guseltseva M.S. Psychology and history: from macro- to micro-analysis](#)

Психологический институт Российской академии образования, Москва, Россия

[Сведения об авторе](#)

[Литература](#)

[Ссылка для цитирования](#)

Обсуждаются общие методологические проблемы психологии и истории, предлагается обзор микроисторических исследований, сравнительный анализ эволюции исторического и психологического знания, намечаются перспективы культурно-исторической эпистемологии в психологическом познании.

Ключевые слова: методология, психология, культурная история, микроистория, постнеклассическая рациональность, культурно-психологический анализ

История и психология: методология

В истории, как и в психологии, возможно проследить смену трех типов рациональности: классической, неклассической, постнеклассической. Классическая рациональность возникла, когда историческая наука оформлялась в качестве самостоятельной дисциплины и ориентировалась на методологию естествознания. Так, Л.Ранке призывал писать историю такой, «какова она была на самом деле». В классической рациональности считалось, что историк собирает эмпирический материал и посредством объективного анализа источников порождает корректные выводы и умозаключения. На классическом идеале рациональности строилась вся позитивистская историография XIX в. Неклассическая рациональность в исторической науке была связана с возникновением «новой истории» – проекта, реализованного прежде всего французской исторической школой «Анналы», которая показала первостепенную роль проблемы, задающей оптические горизонты как для сбора материала, так и для его интерпретации. К тому же это был междисциплинарный проект социально ориентированной истории. Однако уже в 1960-е гг. как в отечественной, так и в зарубежной истории стал наблюдаться кризис социально-экономической парадигмы, связанной с неклассическим типом рациональности в науке. Классический и неклассический типы рациональности характеризовались гносеологическими установками позитивизма, что во второй половине XX в. стало осознаваться в качестве проблемы как для исторических, так и для психологических исследований. Однако прорыв к постнеклассическому типу рациональности в истории случился раньше, чем в психологии.

Наблюдение за тем, как развивалось и какие трудности испытывало историческое знание, возможно, может помочь психологии избежать аналогичных ошибок. В исторической науке на протяжении XX в. для решения текущих методологических проблем разрабатывались следующие проекты: *новая история* («Анналы»), *история ментальностей*, *интеллектуальная история*, *историческая антропология*, *новая культурная история*, *история повседневности*, *микроистория*. Данная статья посвящена преимущественно микроистории, которая рассматривается в качестве методологического подхода, реализующего постнеклассический тип рациональности в истории.

История и психология: антропология

Интерес к гендерным различиям, сексуальности, экзистенциальному опыту, детству, смерти направлял историю (и психологию) в области антропологии. Историческая антропология выступала методологически поддерживающим контекстом для истории ментальностей, истории повседневности, микроистории, культурной и новой культурной истории, отдельных культурно-психологических этюдов. Важно отметить отсутствие у исторической антропологии как научной дисциплины предмета исследований в традиционном смысле слова: темы исследований были ориентированы на решение локальных проблем, отличались ситуативностью, изменчивостью, размытостью. Диапазон историко-антропологических исследований простирался от истории тела (Ж.Ле Гофф) до истории экзорцизма как отдельного случая (Дж.Леви).

Проекты Microhistory К.Гинзбурга, Н.Дэвис, Э.Ле Руа Ладюри явились образцами смены методологических тенденций: от макроанализа – к микроанализу, от социальной истории – к культурной истории, от панорамы – к деталям [Гинзбург, 2000; Дэвис, 1990; Ле Руа Ладюри, 2001; Davis, 1983]. 1970-е гг. в целом были отмечены расцветом микроаналитических исследований. Микроистория явилась ответом на кризис социальной истории, которая ориентировалась на политико-экономическую парадигму развития общества, использовала так называемые объективные (преимущественно количественные) методы и создавала универсальные модели, элиминируя феноменологию разнообразия и особенности развития локальных культур.

Согласно П.Берку, микроистория выступила «своего рода откликом на сближение с антропологией», которая предлагала расширенный горизонт для изучения уникальных случаев, подразумевала их интерпретацию в социокультурных и культурно-исторических контекстах, освобождала от экономического и социального детерминизма и становилась особой оптикой, позволяющей выхватить из толпы отдельные лица. «Микроскоп — привлекательная альтернатива телескопу, позволяющая конкретным людям и локальному опыту вновь стать частью истории» [Берк, 2005]. Более того, микроистория оказалась привлекательной альтернативой идеологии прогресса (модели становления западной цивилизации, подразумевающей известные этапы: от Древней Греции и Рима к христианству, из средних веков – к Возрождению, Реформации и Просвещению, к научной, социальной и индустриальной революциям. «Эта победительная история ничего не говорит о достижениях и о вкладе других культур, как и о различных социальных группах Запада, которые не принимали участия в перечисленных движениях» [Там же]. П.Берк отмечает синхронистичность критики эволюционистского метаповествования в истории и критики классического канона в литературоведении («великих писателей в английской литературе») и искусствознании («великих художников в западном искусстве») [Там же].

Гуманитарная эпистемология бурлила протестом против глобализации, идеологии прогресса и эволюционизма, выводя на передний план анализа «ценности региональных культур и местных знаний» [Там же]. Именно в середине 1970-х гг. появились два сочинения, ставшие оплотом микроисторических исследований: «Монтайю» Э.Ле Руа Ладюри в 1975 г. и «Сыр и черви» К.Гинзбурга в 1976 г. «Монтайю» – скрупулезное описание повседневной жизни небольшой французской деревни в Пиренеях начала XIV в., состоящей из двух сотен жителей. Эта реконструкция исторической жизни и ментальности была создана на основе особых источников – сохранившихся архивов инквизиции (доскональных стенограмм допросов двадцати пяти жителей деревни, обвиняемых в ереси). В своем труде Э.Ле Руа Ладюри удалось соединить разные уровни анализа: изучение общины в социологическом стиле и темы детства, сексуальности, семейных ценностей, психологического времени и интимного пространства – в культурно-антропологическом стиле. «Сюжет, избранный историком для специального рассмотрения, оказывается своего рода узлом, в котором сталкиваются многие и разные нити. Вдумчивое проникновение в "микрокосм" открывает возможность увидеть его на уровне "макркосма"», – писал А.Я.Гуревич [Гуревич, 2005, с. 42].

П.Берк отмечал, что исследование Э.Ле Руа Ладюри совмещало в себе изучение материальной культуры, приемов социального анализа и истории ментальностей и явилось классическим примером культурной истории. В «Возвращении Мартена Герра» Н.Дэвис изучала становление человеческой идентичности на рубеже Средневековья и Нового времени [Davis, 1983]. Источники были известны и до Н.Дэвис, и Э.Ле Руа Ладюри, однако новый взгляд – микроаналитическая оптика – позволила им получить новое знание в истории [Гуревич, 2005]. В книге «Сыр и черви» К.Гинзбург осуществил реконструкцию жизни и мировоззрения мельника Доменико Сканделла по прозвищу Меноккио, родившегося в 1532 г. и погибшего на костре инквизиции в 1600 г., «необычного обычного человека»: так, меняя исследовательскую оптику, автору удалось показать, как в одном человеке сочетались «чудак» (индивидуальность), озадачивший инквизиторов несоответствием стереотипу еретика, и типичный представитель крестьянской культуры (личность). Поскольку на допросах Меноккио охотно рассуждал о своем понимании доступных ему ученых книг, исследование К.Гинзбурга одновременно явилось и вкладом в историю чтения [Берк, 2005].

«Монтажу» Э.Ле Руа Ладюри, «Возвращение Мартена Герра» Н.Дэвис, «Сыр и черви» К.Гинзбурга стали также примером постмодернистских работ в исторической науке. Модернизм оставался в постмодернизме, составлял ядро постмодернизма, но выступал предметом, с которым играют, который интерпретируют, критикуют, к которому как-то относятся: постмодернизм и вносил это «пост» – отстранение, остранение (estrangement), отношение, рефлексия. Отличие модернизма и постмодернизма проходило золотой нитью рефлексивной сложности: то, что в модернизме было само собой разумеющимся и аксиоматичным, в постмодернизме стало предметом сомнения, осмысления, интерпретации, нередко иронии. «Эти работы лучшим образом отражают наличествующий интерес к незначимым, казалось бы, и периферийным вещам в жизни, потому что настойчиво используют крошечные вещи для того, чтобы осветить гораздо более широкие вопросы религии, научного знания, семейной жизни, сексуальных отношений и устремлений низших классов прошлого» [Доманска, 2010, с. 373].

В постмодернистском, постнеклассическом стиле была написана книга Э.Саида «Ориентализм», осуществившая деконструкцию – анализ исследовательских стереотипов и оптики, посредством которой западные ученые создавали научный миф о Востоке. Ряд исследований, как показал П.Берк, был посвящен развенчиванию других стереотипов: «кельтизма», «оксидентализма», «истории женщин» [Берк, 2005]. Книга Р.Дарнтон выступила яркой вехой смены эпистемологической парадигмы: от социальной (макроаналитической) истории – к культурной (микроаналитической) [Дарнтон, 2002; Darnton, 1984]. Однако мы отвлечемся от общих тенденций и рассмотрим эпистемологический поворот, произошедший в исторической науке, обратившись к отдельному случаю – микроистории К.Гинзбурга.

Микроистория как методология изучения уникального

В основе микроистории лежала методология Б.Кроче [Кроче, 1998] – методология уникального случая, апеллирующая к истории и литературе. К.Гинзбург перенес методологические приемы литературоведения в историю, трактуя литературу в целом как человековедение, как «знание о других людях». В романах он видел возможность испытать опыт множества жизней. Его задачей было «проследить, как субъективность человека, стоящего за текстом, формирует "специфическую оптику" текста, преломляющую и искажающую предмет описания» [Гинзбург, 2004, с. 341].

Микроистория явилась вехой смены парадигм в гуманитарном познании: галилеевская наука исходила из установки, что «об индивидуальности нельзя говорить», постгалилеевская наука сменила установку на диаметрально противоположную: «только об индивидуальном и можно говорить» [Там же. С. 341]. Родиной микроистории оказалась Италия, имеющая культурно-специфическую гуманитарную традицию. Расцвет итальянской школы микроисторических исследований пришелся на 1980-е гг. Школа была представлена двумя подходами, в континууме от

номотетики до идиографии: соответственно, с одной стороны – тяготеющими к социальной истории в работах Э.Гренди и Дж.Леви, с другой стороны – устремившимся к социальной антропологии, истории культуры и индивидуальности в подходе К.Гинзбурга.

По своему интеллектуальному стилю К.Гинзбург – приверженец принципиальной незавершенности формулировок: «Очерк есть движение в чистом виде. Это сама жизнь в ее незавершенности» [Там же. С. 345]. Понимая, что «человеческое "я" всегда устойчиво и изменчиво одновременно», в своих работах он стремился избежать как «иссушающего рационализма», так и «болот иррационализма» [Там же. С. 8].

Герменевтический, литературоведческий, искусствоведческий подходы, приложенные к истории, вели к иной постановке проблем и к новым результатам. В методологии К.Гинзбург следовал за А.Варбургом, предложившим использовать данные истории искусства для создания «исторической психологии человеческой выразительности» [Цит. по: Гинзбург, 2004, 57]. Если немецкоязычные теоретики искусства А.Ригль и Г.Вёльфин не признавали связей между историей искусства и историей культуры, а Я.Буркхардт выступал за целостное понимание культуры (как и В.Дильтей^[1]), включая в нее не только искусство, но и литературу, философию, науку, религиозные культы и ремесла, то для А.Варбурга искусство представляло собой естественную лабораторию психологических исследований [Варбург, 2008]. Историю искусства в качестве посредника между историческими и психологическими ситуациями рассматривали самые разные авторы. Так, искусствовед Ф.Заксль тоже предлагал подходить к проблемам истории «с инструментарием, предоставляемым историей искусства» [Гинзбург, 2004, с. 70]. Однако заслугой К.Гинзбурга стало внимание к деталям: «ксилографии, пропагандистские листки и памфлеты периода Реформации не являются великими произведениями искусства, но они служат для нас "зеркалом", в котором отражаются установки этой эпохи» [Там же. С. 74].

Движение *от систем к судьбам* в исторической эпистемологии привело к расцвету разного рода культурно-психологических исследований: «кризис философского системосозидания»^[2] сопровождался «ростом конкретных, частных исследований» в рамках отдельных гуманитарных наук. Суть микроаналитического метода заключалась в приближенности к исследуемой реальности, отказе от априорных гипотез и теоретических обобщений, в «междисциплинарном подходе, сломе академических или просто установленных по традиции перегородок» [Там же. С. 63]. Мы видим, что в исторической эпистемологии разворачивался процесс, аналогичный движениям в антропологии, социологии, психологии, однако психологами он был отрефлексирован преимущественно в области науковедения (работы П.Фейерабенда и других постпозитивистов). Так, А.Варбург «выдвигал в качестве идеала "культуроведческую историю искусства", то есть историю искусства, видящую свой предмет в гораздо более широкой перспективе, чем традиционное академическое искусствоведение» [Там же. С. 68].

С одной стороны, происходило крушение дисциплинарных барьеров (крепостных стен), с другой стороны, идеология постмодернизма вносила в академическую науку аспекты демократизации и, как бы к этому ни относиться, размывала водораздел между научными и вненаучными формами знания. Чтобы осуществлять эстетический анализ, совсем не обязательно обладать оптикой искусствоведа (полученной путем сложного образования) – «именно такая исходная постановка исследовательских задач дает право рассуждать о работах этих ученых наблюдателю, который не является профессиональным искусствоведом, пусть даже его суждения будут суждениями маргинала и профана» [Там же. С. 68] (ср. с призывом П.Фейерабенда: «допустимо всё!»). Однако методологическая почва была здесь тонкая, зыбкая, и грань научного и вненаучного знания, эрудиции и дилетантизма явилась одной из проблем, особенно остро вставших именно в постнеклассической науке.

Стимулом к развитию микроаналитических исследований служило и стремление «переступить через неявные дисциплинарные запреты, расширить тем самым границы дисциплины» [Там же. С. 13]. К.Гинзбург – «индивидуалист и одиночка», оказался ярким примером исследовательского

темперамента, которому было тесно в существующей традиции. Преодолеть ее он попытался двумя путями: сначала, поддавшись очарованию работ К.Леви-Строса, К.Гинзбург занялся поиском инвариантных структур как основы объективности исторического опыта (однако данное направление исследований не принесло ему ожидаемого результата); стремление же к изучению вариативности и несущественных деталей не только неожиданно дало избыточные плоды, но и потребовало смены исследовательского инструментария и обновления подхода. Идея сочетания «телескопа и микроскопа» стала визитной карточкой творческого стиля К.Гинзбурга. Одним из методов понимания индивидуальности стал для него анализ культурно-исторического контекста.

В стиле постнеклассической рациональности К.Гинзбург не отказался от поиска инвариант, а нашел способ сочетания универсального и уникального анализа. «За внешним своеобразием» он обнаруживал «глубинную гомологию» и «использовал морфологию как зонд, чтобы коснуться слоя, недоступного для обычных инструментов исторического познания» [Там же. С. 17]. Эти идеи вдохновлялись морфологическим анализом В.Проппа («Исторические корни волшебной сказки»), позволив осуществить «интеграцию морфологии в рамки исторической реконструкции» [Там же. С. 18]. Работы К.Гинзбурга – прежде всего методологические работы. Их внутренней мотивацией служило желание автора обосновать собственный исследовательский стиль. «Более или менее осознанной предпосылкой такого интерпретационного подхода является... вера в то, что произведения искусства (взятые в широком смысле) содержат массу информации о ментальности и аффективной жизни прошедших эпох, причем информация эта лежит в готовом виде и поддается считыванию *безо всяких опосредований*» [Там же. С. 75–76]. Тем не менее К.Гинзбург доказывал, что одного иконографического анализа источника недостаточно, надо учитывать и другие виды анализа – например, стилистического. В целом же речь шла о повышении когнитивной сложности, о «плюралистичной истине», предполагавшей не один метод, а паутину аналитических подходов, мысленное скольжение по всей сети нарративов и источников. Это было в традиции А.Варбурга, которая характеризовалась «широтой интересов и разнообразием аналитических подходов» [Там же. С. 69]. (Отметим также, что любимым выражением А.Варбурга являлось: «бог – в деталях»).

В статье «Приметы» К.Гинзбург показал, что к началу XX в. в гуманитарном знании возникла эпистемологическая модель, которая, не будучи эксплицированной, между тем получила широкое распространение. Для ее характеристики трудно подобрать однозначный термин, и К.Гинзбург предложил терминологически дополнительное описание. «Нити, составляющие это исследование, можно сравнить с нитями ковра. <...> Этот ковер и есть парадигма, которую мы называли попеременно, в зависимости от контекстов, следопытной, дивинационной, уликовой или семейотической. Очевидно, что все эти прилагательные не синонимичны друг другу; однако все они отсылают к общей эпистемологической модели, артикулированной в различных дисциплинах, между которыми часто обнаруживается связь в виде заимствования методов или ключевых понятий» [Там же. С. 217].

В конце XIX в. в искусствоведении получил распространение метод Дж.Морелли, позволяющий распознавать подлинники не по ключевым признакам, а по характерным малозначительным деталям. «Знаток искусства уподоблялся детективу, выявляющему автора преступления (полотна) на основании мельчайших улик, не заметных для большинства» [Там же. С. 191]. Постулат Дж.Морелли гласил: «личность следует искать там, где личное усилие наименее интенсивно» [Цит. по: Гинзбург, 2004, с. 192], а в переводе на психологический язык это означало, что именно в бессознательном поведении более зримо проявляется наша индивидуальность. Весьма вероятно, что работы Дж.Морелли не остались незамеченными основателем психоанализа З.Фрейдом. Так, К.Гинзбург уверенно констатировал: «за Джованни Морелли особое место в истории формирования психоанализа» [Гинзбург, 2004, с. 193]. Оказал бы психоанализ такое мощное воздействие на разные сферы культуры, если бы сам не питался из разнообразных дисциплинарных областей? К.Гинзбург утверждал, что из книги искусствоведа Дж.Морелли З.Фрейд извлек новую *методологию*. «... Что могли означать... для молодого Фрейда, еще совсем далекого от психоанализа, – статьи Морелли? Фрейд сам указывает нам ответ: это было предложение нового метода интерпретации, выдвигающего на передний план "отбросы", побочные факты и

рассматривающего эти побочные факты как проявления скрытой истины» [Там же. С. 195].

Однако, поставив перед собой цель эксплицировать новую методологию, К.Гинзбург пошел дальше: «нашему взгляду открылась определенная аналогия между методом Морелли, методом Холмса и методом Фрейда. <...> Во всех трех случаях мелкие, даже ничтожные следы позволяют проникнуть в иную, глубинную реальность, недостижимую другими способами» [Там же. С. 196]. К.Гинзбург подметил, что и Дж.Морелли, и А.Конан-Дойл, и З.Фрейд имели за плечами основательное медицинское образование, то есть *методологически* умели по симптомам поставить диагноз. «К концу XIX века – точнее говоря, между 1870 и 1880 годами – в гуманитарных науках начинает утверждаться уликовая парадигма, опирающаяся именно на медицинскую семейотику» [Там же. С. 197]. (Здесь следует обратить внимание, что К.Гинзбург умышленно использовал термин «семейотика», а не «семиотика» в стремлении избежать ассоциаций с позитивистским пониманием семиотики как науки о знаках). В дальнейшем, оставив медицину, К.Гинзбург углубился в область антропологии, прослеживая корни уликовой парадигмы в повседневной деятельности охотника. «Этот тип знания характеризуется способностью выходить от незначительных данных опыта к сложной реальности, недоступной прямому эмпирическому наблюдению» [Там же. С. 198].

Почему психология не вдохновилась уликовой парадигмой? Не было ли для развития этой парадигмы в психологии иных путей, кроме психоанализа? На наш взгляд, культурно-аналитический подход и есть экспликация уликовой парадигмы [Гусельцева, 2009]. А нарративная психология может рассматриваться как разновидность реализации уликовой парадигмы в психологии наряду с психоанализом. Сам К.Гинзбург полагал, что и идея нарратива возникла из деятельности охотника – как рассказ об интерпретации примет и следов. В истории культуры представлена как деятельность, требующая расшифровки прошлого (охота), так и деятельность, требующая расшифровки будущего (предсказания). Так, в древней Месопотамии возникло знание, ориентированное на дешифровку знаков. «Можно было бы увидеть тут соблазнительную возможность для противопоставления двух наук (юриспруденции и медицины) двум псевдонаукам (дивинации и физиогномике) и объяснить затем сочетание столь разнородных элементов пространственной и временной удаленностью общества... Но такое умозаключение было бы поверхностным» [Гинзбург, 2004, с. 200]. Однако здесь есть объединяющее начало – исходная установка на «анализ индивидуальных случаев, поддающихся реконструкции только на основе следов, симптомов, улик» [Там же. С. 200]. При трансформации из цивилизации месопотамской в греческую знание, ориентированное на дешифровку знаков, претерпело изменение, суть которого заключалась в дифференциации на историографию и филологию и обретение эпистемологической независимости от медицины. Позднее дешифровальные науки вновь обрели методологическую целостность, слившись в герменевтику. Их глубинное родство заключалось в общности парадигмы, эпистемологической модели, ориентированной на интерпретацию.

Тело, язык и биография – отдельные предметные области герменевтически ориентированных дисциплин (медицины, филологии и истории). Однако психология вновь собирает их в единую сеть знания, поскольку познание души (психики) требует как изучения ее воздействия на тело, анализа ее репрезентации в языке, так и воплощения особенностей внутреннего мира в жизненную историю (биографию). По разного рода косвенным признакам здесь реконструируется душевная деятельность. Если же рассматривать реконструкции не в качестве единой сети знания (мультидисциплинарно), а по отдельным аспектам – тело, язык, биография, – то получатся различные междисциплинарные направления психологии: психосоматика, психолингвистика, психоистория. Уликовая парадигма (предполагающая аналитику и реконструкцию реальности на основе косвенных признаков) отличает гуманитарное знание от естественнонаучного, в котором результат может быть представлен наглядно и непосредственно (в эксперименте или опыте).

Если от исторической эпистемологии мы вернемся к психологии, то отметим, что психология – онтологически и гносеологически сложная наука, которая может строиться на методологических предпосылках как естественнонаучного (экспериментальная психология, нейронауки), так и гуманитарного знания (нарративная психология, гуманистическая и экзистенциальная психология,

культурная психология). В данной статье речь идет, прежде всего, о психологии, в основе которой лежит гуманитарная эпистемологическая модель, где открытой книге природы противопоставлена зашифрованная книга культуры. В одном случае успешны экспериментальные и индуктивно-дедуктивные стратегии, во втором – герменевтические и нарративные. В исторической эволюции психологического познания эпистемологическая модель неточного и предположительного знания была авторитарно потеснена моделью точной и строгой науки (как известно, в основу данной эпистемологии был положен рационализм Античности и Нового времени – в версиях от Платона до Галилея). Однако ряд дисциплин, которые К.Гинзбург объединил названием «уликовые» (сюда вошла и медиевистика), совсем не соответствовали критериям научности, следующим из галилеевской парадигмы. Эти дисциплины имели дело с качествами вещей, а не количеством; с индивидуальными случаями и явлениями, сопротивляющимися обобщению. «...Применение математики и экспериментального метода предполагало соответственно количественную измеримость и повторяемость явлений, тогда как индивидуализирующий подход по определению исключал вторую и лишь ограниченно допускал первую во вспомогательных целях» [Там же. С. 202]. Согласно К.Гинзбургу, это объясняет, «почему история... не смогла стать наукой галилеевского типа» [Там же. С. 202]. Не удался сходный опыт и психологии. Удивительно, но рефлексивный анализ специфики гуманитарного знания (уликовой парадигмы) появился в истории науки довольно поздно. В наиболее четкой форме эти идеи были сформулированы баденской школой неокантианства (В.Виндельбандом, Г.Риккертом). В.Дильтей обратил внимание на описательные, а Э.Шпрангер – на понимающие аспекты психологии.

В XX веке вклад в анализ специфики гуманитарного знания внесли самые разные авторы. Так, М.М.Бахтин утверждал, что *текст* есть «первичная данность» гуманитарных наук. И этот особенный предмет исследования требует специфических методов. «Исследование становится спрашиванием и беседой, то есть диалогом» [Бахтин, 1979, с. 332]. Г.Гадамер подчеркивал, что любой текст всегда дан в каком-то *контексте*, который определяет и возможности его интерпретации. «Науки о духе сближаются с такими способами постижения, которые лежат за пределами науки: с опытом философии, с опытом искусства, с опытом самой истории. Все это такие способы постижения, в которых возвещает о себе истина, не подлежащая верификации средствами науки» [Гадамер, 1988, с. 39]. Неокантианцы доказывали, что гуманитарные науки имеют дело с ценностями и ценностно-опосредованным мышлением: так, В.Виндельбанд и Г.Риккерт показали необходимость *индивидуализирующих методов* в гуманитарном познании. М.Вебер предложил в качестве интеллектуального орудия гуманитария концепцию идеальных типов.

В своем дальнейшем развитии гуманитарные науки смело экспериментировали с апробацией самых разных методов. Среди них был и зарекомендовавший себя как в математическом анализе, так и в философии (С.Кьеркегор) метод аппроксимации (приближения). И опытный клиницист, и знаток искусств (эксперт в этой области), и проницательный психолог, и историк-фантазер – всё это тип исследователя, который опирается в исследовании на воображение и, угадывая, достигает особой точности. «...Уровень научности, если понимать научность в галилеевском смысле, стремительно снижался по мере того, как мы переходили от всеобщих "свойств" геометрии к "общим свойствам века", наблюдаемым в манускриптах, – и далее к "собственным свойствам, присущим индивиду", наблюдаемым в живописи или даже в почерке. Эта шкала убывания подтверждает, что подлинное препятствие для применения галилеевской парадигмы определялось тем, насколько центральное положение занимал в той или иной дисциплине элемент индивидуальности. Чем более релевантными оказывались индивидуальные признаки, тем безнадежнее улетучивалась основа для строгого знания» [Гинзбург, 2004, с. 209]. Иными словами, чем больше индивидуальности, тем меньше научности в галилеевской системе координат научного знания. И гуманитарные науки в XX в. оказались перед выбором: либо отказаться от научных притязаний, либо поменять систему координат. К.Гинзбург сформулировал обозначенные перспективы так: «либо принести познание индивидуальности в жертву генерализации» [Там же. С. 210] (и в психологической науке этому соответствовал радикальный методологический ход бихевиоризма, отказавшегося от внутреннего мира как предмета исследования ради того, что поддается объективному анализу); либо отправиться

на поиски новой парадигмы, позволяющей исследовать индивидуальные и уникальные качества.

По первому пути уверенно шагало естествознание. И вслед за ним потянулись некоторые из социальных и гуманитарных наук (увлекаясь структурным и статистическим анализом, психометрией и клиометрией), но это был наиболее простой путь. С другой стороны, дело заключалось в линзах, в методологической оптике: так, для архитектора – не существует двух абсолютно одинаковых зданий, для биолога – двух идентичных мышей, для этнографа очевидны различия между двумя эфиопскими лицами, но если вдруг поменять представителей этих разных дисциплин местами, то окажется, что «все иноземные физиономии выглядят одинаково» [Там же. С. 210], а животные одного вида подобны друг другу. Иными словами, и в архитектуре, и в истории, и в психологии возможны как номотетический, так и идиографический подходы. Все определяется тем, какие задачи исследователь перед собой ставит и, следовательно, какую методологическую оптику использует. И в психологии, и в истории можно видеть как общее в различном, так и обнаруживать «в сходных чертах различие» [Там же. С. 210]. И в продолжающем развиваться естествознании для того, чтобы справиться с индивидуализацией и разнообразием случаев, возникла теория вероятности – еще одна попытка подчинить индивидуальное всеобщему. Однако на постнеклассическом этапе развития науки естествознание стало проявлять интерес к методологии гуманитаристики. Преодолеть дилемму позволил принцип континуальности, согласно которому наука не делится жестко на номотетический и идиографический подходы, а представляет собой континуум.

Когда галилеевское представление о научности поставило гуманитарное знание перед дилеммой: «либо принять слабый научный статус, чтобы прийти к значительным результатам, либо принять сильный научный статус, чтобы прийти к результатам малозначительным» [Там же. С. 225], то для форм знания, «тесно связанных повседневным опытом», эти критерии оказались не только неуместными, но и разрушительными. «Речь идет о формах знания, в логическом пределе тяготеющих к немоте, – в том смысле, что их правила... не поддаются формализации и даже словесному изложению... В познании такого типа решающую роль приобретают... неуловимые элементы: чутье, острый глаз, интуиция» [Там же. С. 226]. К.Гинзбург обратил внимание на особый функциональный орган уликового познания – *фирасу*^[3] способность, проистекающая из практики арабских физиономистов). «Если претензии на систематическое знание становятся все более робкими, это еще не значит, что должна быть отброшена сама идея всеохватной целостности», – утверждал К.Гинзбург [Там же. С. 224]. Медицина «эксплицитно или имплицитно» выступала ориентиром для гуманитарных наук, но и в ней существовали две эпистемологические модели – анатомическая и сейсмеотическая. Так, например, марксизм опирался на анатомическую модель – это проявилось в метафоре *анатомия общества*, «но, несмотря на широкое распространение марксизма, гуманитарные науки в конечном счете все больше и больше склонялись... к уликовой парадигме семейотики» [Там же. С. 217–218].

Проследивая методологические размышления К.Гинзбурга, мы можем обнаружить свойственную постнеклассическому типу рациональности тенденцию: размывание дисциплинарных границ, заимствование приемов, повышение рефлексивной сложности. В постнеклассической науке выигрывают не те, кто отдаются одному подходу, а кому удастся достичь ситуативного синтеза противоположностей и, не держась за него как за методологическое основание, отпустить текучую реальность, будучи готовым к поиску нового уникального синтеза. Едва ли вся психология станет ориентироваться на гуманитарное познание, но процессы, наблюдаемые в эволюции исторического знания, могут очертить перед нами перспективы нарративизации психологии со всеми ее открывающимися возможностями, опасностями и издержками.

Культурная история и культурно-историческая эпистемология

Выражение «новая культурная история» появилось в 1980-е гг. [Beyond the Cultural Turn, 1999; Burke, 2004]. Новая парадигма была отрефлексирована в сборнике статей под редакцией Л.Хант и проявилась в движении: от идей и систем мысли – к ментальностям и чувствам, от строгости и точности – к неопределенности и полету воображения [Hunt, 1986]. Многочисленные теории культуры также стали своеобразной методологической оптикой, позволившей историкам обнаружить новые проблемы [Burke, 1992].

С одной стороны, «тяготение к теории – одна из отличительных черт новой культурной истории» [Берк, 2005]. Другой чертой стала ориентация на локальные практики (вдохновляемая работами Н.Элиаса, П.Бурдьё, М.Фуко). «"Практики" – один из лозунгов новой культурной истории: история религиозных практик вместо теологии, история речи вместо лингвистики, история экспериментов вместо научной теории» [Там же]. Сюда относится также изучение истории образования, религиозных обрядов, путешествий, коллекционирование, история сновидений и история чтения. «История чтения представляет собой одну из наиболее популярных форм истории практик, граничащую, с одной стороны, с историей письма, а с другой – с более ранней "историей книги" (книготорговли, цензуры и т.д.). В своей культурной теории Мишель де Серто подчеркивал возникновение нового интереса к роли читателя, к изменениям в практиках чтения и к "культурным применениям" печати. Сперва историки чтения – скажем, Роже Шартье – шли параллельным путем с литературоведами, занимавшимися проблемами "рецепции" литературного произведения, и лишь со временем обе группы стали отдавать отчет в существовании друг друга. <...> В настоящее время более всего в истории западного чтения обсуждаются три броских изменения или перехода: от чтения вслух к чтению глазами; от чтения публичного к приватному; от медленного, или интенсивного, чтения к чтению быстрому, или "экстенсивному", – так называемой "революции чтения" XVIII века. Считается, что по мере умножения количества книг, поставившего человека перед невозможностью прочесть больше, чем малую их часть, читатели начали вырабатывать новые тактики, пролистывая, пробегая глазами, обращаясь к содержанию или к указателям, для того чтобы получить нужную информацию, не читая книгу от корки до корки. Однако эта перемена, скорее всего, не была столь уж внезапной; разумно будет предположить, что читатели продолжали пользоваться разными стилями чтения, в зависимости от книги и от собственных целей» [Там же]. Смысл столь длинной цитаты – показать, что и у психологов может быть столько же интереса к культурным практикам, сколько и у историков и литературоведов.

Парадигма новой культурной истории (new cultural history) включает в себя разные интеллектуальные традиции: американские, британские, итальянские, германские, французские. Очевидно также, что у этой парадигмы много пересечений с российскими междисциплинарными исканиями начала XX в. [Гусельцева, 2007]. Она характеризуется отсутствием общих схем анализа и приоритетом конкретной исследовательской практики (и здесь у нее обнаруживается сходство с гуманистической и экзистенциальной психотерапией). Вариативность, ценность разнообразия, творческая раскрепощенность, демократичность, экспериментирование с разными жанрами – идеологические черты новой парадигмы [Psychology and Postmodernism, 1994]. Р.Шартье так охарактеризовал изменившуюся эпистемологическую ситуацию: «обрисовалась новая картография работы историков, где общность мысли основана уже не на принадлежности к некой "школе", но на пересечении различных дисциплинарных либо национальных традиций», образовалось «невероятное прежде сочетание подходов, долгое время чуждых друг другу (критики текста, истории книги, социологии культуры)...» [Шартье, 2004].

Однако в чем проявился в истории собственно переход от неклассического к постнеклассическому типу рациональности? Это четко демонстрирует наблюдение за методологическим закатом исследовательской программы «Анналов» [Burke, 1992; Hunt, 1986], которые, сражаясь с классической позитивистской историографией, тем не менее оставались в плену ее эпистемологии[4]: «...эпистемологическая революция Блока и Февра не затрагивала самого существа позитивистской концепции истории и находилась в рамках той же интеллектуальной модели. <...> Блок и Февр, критикуя понятийный аппарат позитивистской историографии, ратовали в основном за его более гибкое применение, но не за его смену – никакой системы

понятий, порвавшей связи с механическими метафорами и систематически обратившейся, например, к метафорам электричества, в их сочинениях обнаружить не удастся» [Копосов, 2005, с. 151]. Более того, М.Блок стремился к классическому идеалу однозначности терминов и общепринятости понятий.

Водораздел неклассического и постнеклассического типов рациональности состоял не только в смене идеалов (легализации неопределенности, субъективности и т.д.) научного познания, но и в способности к *деконструкции* (выявлению идеологических установок, методологических предпосылок, социокультурных стереотипов и психических механизмов, лежащих за текстом или понятием). Заслугой М.Блока и Л.Февра было обнаружение, что исторические и физические факты «мы воспринимаем сквозь призму форм нашего разума» и что историческое прошлое конструируется из оптического горизонта настоящего. Однако, согласно Н.Е.Копосову, «они не подвергли исследованию конкретные формы разума, проявившиеся в конкретных, в том числе и в важнейших для их собственных целей, исторических понятиях» [Там же. С. 151]. Важным конструктом постнеклассической рациональности выступила *рефлексивная сложность* (примерно в то же время, когда К.Герген обсуждал необходимость саморефлексии психологии, А.Я.Гуревич призывал к саморефлексии историков). Микроистория как парадигма отличалась гораздо большей степенью саморефлексивности.

Важно отметить, что макроистория не отменяет макроаналитических исследований (как считает, например, Н.Е.Копосов [Копосов, 2005]), а становится особой методологической оптикой в руках исследователя, который в стиле постнеклассической рациональности волен выбирать уровни анализа в зависимости от поставленных конкретных задач. Макроаналитический уровень, преимущественно ориентированный на изучение социальных структур, групп и процессов, не позволял исследовать самого человека [5], особенно в проявлениях его индивидуальности и своеобразия.

Что дает наблюдение за исторической и культурно-исторической эпистемологией психологии? Если в методологии психологии осуществить мысленное движение по известной схеме Э.Г.Юдина, но наложить на нее еще несколько методологических измерений – например, движение от парадигмы макроанализа к микроанализу, то можно увидеть, что Э.Мецгер и Т.Кун предложили парадигмальный анализ науки, М.Г.Ярошевский разрабатывал категориальный анализ (охватывающий общенаучный и конкретно-научный уровни), однако в методологии психологии существовала лакуна, касающаяся изучения феноменов разнообразия культурно-исторических миров человека и своеобразия его индивидуальности [Гусельцева, 2007]. На наш взгляд, именно культурно-историческая эпистемология (отдельные модели которой разрабатываются в разных областях гуманитарного знания) выступает порождающей средой для микроаналитического уровня исследований в психологии. Разрабатываемый нами культурно-психологический анализ [Гусельцева, 2009] и является методологией исследования индивидуальности в ее повседневной жизни. Эта методология позволяет изучать человека в разнообразии социокультурных и культурно-психологических контекстов, осуществлять междисциплинарный синтез различных планов анализа – исторического, психологического, социально-психологического, социологического, литературоведческого и т.п., а также менять методологическую оптику – от микроуровня до макроуровня в зависимости от конкретно поставленных задач. Более того, эта методология отвечает «текучей современности» (З.Бауман), то есть тем изменениям в познавательной ситуации, которые возникают при переходе от неклассического типа рациональности к постнеклассическому.

Литература

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 424 с.

Берк П. Историческая антропология и новая культурная история [Электронный ресурс] // НЛО. 2005. N 75. С. 64–91. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/75/ne5.html> (дата обращения:

02.03.2010).

Варбург А. Великое переселение образов. Исследование по истории и психологии возрождения античности. СПб.: Азбука-классика, 2008. 384 с.

Гадамер Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. 703 с.

Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М.: РОССПЭН, 2000. 272 с.

Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы. Морфология и история. М.: Новое издательство, 2004. 348 с.

Гуревич А.Я. История в человеческом измерении (Размышления медиевиста) // Новое литературное обозрение. 2005. N 75. С. 38–63.

Гусельцева М.С. Культурная психология: методология, история, перспективы. М.: Прометей, 2007. 299 с.

Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход в психологии и методологии гуманитарных исследований // Вопросы психологии. 2009. N 5. С. 16–26.

Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2002. 384 с.

Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2010. 400 с.

Дэвис Н. Возвращение Мартена Герра. М.: Прогресс, 1990. 208 с.

Копосов Н.Е. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. М.: Новое литературное обозрение, 2005. 248 с.

Кроче Б. Теория и история историографии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. 192 с.

Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294—1324). Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 544 с.

Шартье Р. Интеллектуальная история и история ментальностей: двойная переоценка? [Электронный ресурс] // Новое литературное обозрение. 2004. N 2 (66). С. 17–47.
URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2004/66/shart2.html> (дата обращения: 02.03.2010)

Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture / ed. by V.Bonnell, L.Hunt. Berkeley: University of California Press, 1999. 350 p.

Burke P. Overture: The New History. Its Past and Its Future // New perspectives on historical writing / ed. by P.Burke. Cambridge: England Polity Press, 1992. P. 1–23.

Burke P. What is Cultural History? Cambridge: Polity Press, 2004. P. 30–51.

Darnton R. The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History. N.Y.: Basic Books, 1984. 298 p.

Davis N.Z. The Return of Martin Guerre. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1983. 162 p.

Hunt L. French History in the Last Twenty Years: The Rise and Fall of Annales Paradigm // J. of Contemporary History. 1986. Vol. 21. P. 209–224.

McCullagh C.B. The Logic of History: Putting Postmodernism in Perspective. L.: Routledge, 2004. 224 p.

Psychology and Postmodernism / Kvaes S. (Ed.) L.: Sage, 1994. 230 p.

[1] «Это единство (Gesamtheit) разных аспектов культурной жизни – аспектов художественных, религиозных, политических – было... неоднократно подчеркнуто Дильтеем: и в его теоретических, и в его конкретных исследованиях» [Гинзбург, 2004, с. 59].

[2] «Упадок систематического философствования сопровождался расцветом афористической мысли. <...> Афористическая литература – это по определению попытка формулировать суждения о человеке и обществе на основе симптомов, улики: человек и общество при этом мыслятся как больные, как находящиеся в *кризисе*» [Гинзбург, 2004, с. 225]. (Заметим, что и «афоризмы» и «кризис» – термины, относящиеся к учению Гиппократу).

[3] «Старинная арабская физиогномика опиралась на идею *фирасы*: это сложное понятие, в целом обозначающее способность мгновенно переходить от известного к неизвестному, основываясь на знаменательных признаках» [Гинзбург, 2004, с. 226].

[4] Если, например, наложить на выделенные типы рациональности гегелевскую схему развития (тезис – антитезис – синтез), то между классической и неклассической рациональностями гораздо напряженнее выражено как внешнее противостояние, так и внутреннее сходство. Для постнеклассического же типа рациональности, осуществляющего синтез, в большей степени характерно появление новых, отличных от классической и неклассической рациональности свойств.

[5] «Большие синтезы, истории государств, империй и цивилизаций формировали фактографическую основу и знание исторических процессов. Но из виду был упущен человек» [Доманска, 2010, с. 379].

Поступила в редакцию 1 февраля 2010 г. Дата публикации: 24 апреля 2010 г.

[Сведения об авторе](#)

Гусельцева Марина Сергеевна. Кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории психологии подростка, Психологический институт Российской академии образования, ул. Моховая, д. 9, стр. 4, 125009 Москва, Россия.

E-mail: mguseltseva@mail.ru

[Ссылка для цитирования](#)

Гусельцева М.С. Психология и история: от макроанализа – к микроанализу [Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2010. N 2(10). URL: <http://psystudy.ru> (дата обращения: чч.мм.20гг). 0421000116/0018.

[Последние цифры – номер госрегистрации статьи в реестре ФГУП НТЦ "Информрегистр".]

[К началу страницы >>](#)